

С.И. Кормилов

## «Один, как прежде...»

<...>

Лермонтов не был абсолютным пессимистом. Его поддерживали воспоминания о лучшем лично для него, посещавшие его часто. Стихотворение **«Как часто, пестрою толпою окружен...»** (1840) построено на антитезе светского ритуализованного, бездушного развлечения, когда «затверженные речи» производят впечатление «дикого» (!) шепота, а изящные танцы — впечатление недостойной шумной «пляски», и воспоминаний забывшегося автора о детстве в родных местах, на лоне природы, о том, что обозначено оксюмороном «недавняя старина» (это было недавно, но кажется уже очень далеким, поскольку слишком велик контраст тогдашнего и теперешнего; отсюда и «старинная мечта»). К этой «старине» авторское «я» летит «вольной, вольной птицей». Повторение слова «вольный» (а птица вообще ассоциируется с вольностью) накладывает отпечаток на изображение маскарадного бала. Там господствует не естественное, не свободное, условное, искусственное поведение, хотя вообще маскарад предполагает раскованность в обращении с его участниками, скрывающими вместе с лицом свой социальный статус. Эпиграф «1-е января» намекает на некий факт, реальный случай, когда Лермонтов непочтительно обошелся с весьма высокопоставленной особой или особами, возможно, императорской фамилии. Публикация стихотворения определенно повлекла за собой новые гонения на Лермонтова.

Изображение маскарада занимает два первых шестистишия (в них по четыре строки 6-стопного ямба, рифмующиеся между собой третья и шестая 4-стопные), составляющих одно длинное сложноподчиненное предложение, в котором «образы бездушные людей, / Приличьем стянутые маски» действительно «мелькают». Воспоминанию отдано вдвое больше стихов, четыре строфы. В набросанном «пейзаже» узнаются Тарханы. Здесь вообразимое прошлое оказывается подлинной реальностью, описанной точным, вещественно-предметным языком; фигуры же на бале виделись «как будто бы сквозь сон». Вместе с тем «тарханские» строфы включают в себя мечту в мечте. «Странная тоска» зародилась в герое еще тогда, с приходом любовного чувства, предмет которого был нереален: «Люблю мечты моей созданье». Описывая его, поэт использует эпитет «с улыбкой розовой». В нем применен не метонимический принцип — «розовые губы» чересчур прозаичны для такого поэтического контекста, — а метафорический и импрессионистический: улыбка такая, что создает впечатление «розового детства», блаженной юности (теперь они видятся Лермонтову так). «Так царства дивного всеильный господин» (безусловно, Лермонтов-мальчик далеко залетал в воображении, даже «в себе одном / Нашел спасенье целому народу», как писал он в «Отрывке» 1831 года) — «Я долгие часы просиживал один...» Но это реальное одиночество совсем не то, что одиночество в светской толпе. Последняя, седьмая строфа возвращает героя в подлинную реальность. «Когда ж, опомнившись, обман я узнаю...» — здесь сразу два «обмана»: самообман автора, надолго погрузившегося в свое прошлое, и обманная жизнь света, которая перед глазами. «О, как мне хочется смутить веселость их / И дерзко бросить им в глаза железный стих, / Облитый горечью и злостью!» — заключает поэт, не стесняясь традиционно низкого в поэзии слова «злость» в самом ответственном месте стихотворения. Миражная атмосфера искупает грамматические и смысловые несостыковки (блуждающее сознание не может не быть «рваным»): в шестой строфе «память их жива поныне... / Как свежий островок безвредно средь морей / Цветет на влажной их пустыне» (*память жива, как островок цветет*), во второй и последней строфах формы местоимения «их» и «им» отнесены

---

формально к «рукам» (после стиха «Давно бестрепетные руки» идет «Наружно погружась в их блеск и суету» — но не рук же, а всех этих людей) и к «толпе людской», что требует местоимения в единственном, а не множественном числе (*ее* веселость, бросить *ей*). Афористические стихи Лермонтова усваиваются, конечно, без рефлексии об их грамматике.

<...>